

## 1. ЧЕРТОВ БУГОР

**В** детстве, перескакивая из леска Жерновца в Ялов лог по пыльной полевой дороге, окаймляющей вершину Чертова бугра, невольно останавливался там и стихал, собирая воедино разбежавшиеся мысли и чувства. В зрелости восходил на него с целью осмотреться, обдуматься. Несмотря на свое неблагозвучное название — он представляет собой холм высотой лишь 251 метр над уровнем моря. Отсюда все внизу кажется мелким, но отсюда и далеко видно. Под взбушевавшей зеленью лесов просматриваются кости донного скелета, тяжи возвышенностей, ложбины впадин.

Исторические сведения мало скажут об этой тяжелой пади на дне бывшего панъокеана, выдавленной наверх титаническими подвижками Великого потопа, когда в других местах под воду уходили части цветущей суши и проваливались во тьму обустроенные атлантиды. Переоформление прав на голубую планету произошло в одностороннем порядке, и сила, сотворившая небо и землю, вернула их под Свой пригляд и попечение.

Должно быть, ангел смерти тщетно летал тогда поперек вспучившейся исподу бесплодной бездны, присел отдохнуть на эту выпуклость праха и заклил новую землю. Но не по нему вышло. Из юных недр Божьей волей пробилась родники, слились в реки, новую земную плоть прошили травы и кустарники, зашелестели леса. И пришел с далеких южных островов человек, потомок Ноя,

и заселил эти края. И на вопрос соседей: «Ты чей?», стал отвечать: «Я русский». Что с ним произошло и почему он стал себя так называть — непостижимо до сего часа. Поскольку является тайной Творения и божественного задания человеку на его историческое бытие.

Может быть, из созерцательного детства взошла мысль о том, что и я — русский. Она еще не вызрела на Чертовом бугре, в месте, называемом Среднерусской возвышенностью, но обрела тревожные очертания. Я представил бы себе нищего, обтрепанного монашка с холщовой сумой побирушки, что приходил к нам зимней порой в детстве, да усадил на этот бугор, да и посмотрел бы его глазами в дол. Инок был, как со временем выяснилось, явлением в моей жизни, и до сих пор загадку его явления хотелось бы мне прояснить, не страгивая наслоений последующего бытия. И он-то, инок, теперь представляется моему внутреннему взору как самое воплощение русского духа, скитающегося по миру в поисках правды, схожей с черным сухарем в его суме.

В спину инока тянул упругий, горячий, напитанный медовыми запахами цветущих трав ветер из Малороссии, а впереди стелилась напитанная светом *Русь*... И увиделась бы мне его глазами упорядоченная в свете предзакатного покоя, созревшая для жатвы часть Творения, картину которой он впитывал бы в ощущении тихого незлобия. Через этот бугор, должно быть, так же, как и в других местах, катились волны воинственных степняков, орды завоевателей и охотников до чужого. Хищные глаза меряли эти пади и ложбины, над ними мело тревогами и пустотой. Теперь следов прошлого не осталось, избитая сухая земля слезалась на вершине Чертова бугра. Но ничто в мире не пропадает втуне. В молекулах праха земного сохраняются каждое движение человека, каждая его мысль и каждая перемена внешнего мира.

Увидел бы инок своими синими глазами наши два века делящиеся рядом деревни, Глиницу и Кочановку, с поредевшими кущами их садов, с логами, в которых заклокотали ракитовые джунгли. И ту часть склона Глиницкого лога с колодцем под ним, ныне исчезнувшим под гладью неглубокого прудика: из его сруба я в детстве черпал и носил ведрами домой питьевую воду. Увидел бы и строчку посадки вдоль железнодорожного полотна, по ветке которой пару раз за день простучит пассажирский вагончик до пограничного с окраиной селения Теткино, да прошмыгнут пустые товарняки. А было время, по ней с чумазыми паровозами во главе на запад катили составы с нефтью и железорудным окатышем, лесом и удобрениями. Кажется, это о ней, нашей железнодорожной ветке, написал Рубцов: «Закатился закат — закричал паровоз, // Это он на меня закричал!..» И вздрогнет от знакомого чувства опаски, а может, и страха перед неизвестным, напророченным не святым, а земным поэтом, — и сбывшимся до последней буквы.

За кочановской прорезью железной дороги, обозначающей границы ближнего круга, и начинается собственно даль. Не было в той дали отчужденного равнодушия и всего того, что мы бессознательно приписываем пейзажу или ожидаем от него — нет, она была проникнута неизъяснимой теплотой. И узорчатая кайма лесов Посемья, и разголубевшаяся на границе неба и земли присеймская пушина, в которой скорее угадываются, чем видятся, и затаенное урочище Соловейня, и Лещинский и Банищанский леса, а в правобережной дали — брезжущие хомутовские и коньшевские веси, вплоть до исчезающе-брянских. С Чертова бугра полевой бинокль приближает за угаданной земной далью неизвестное, не испытанное оком пространство. Ему нет предела, ему не присвоено определения, оно, как бездна, дрожит и мреет, затягивает и манит.

Как сманило многих. И уж повлекло их и потащило в такие пределы, куда только поневоле и можно угодить. Пространство — та запредельная область видимой дали, которая преобразует свободу в рабство, а рабство обращает в разнузданное своеволие. С Чертова бугра не прозреваются мокрые валуны на берегах дальних ледяных морей, не стелется перед глазами тундровая пустыня, не слышно и верезга штормо-

вых ветров, — но и не различаются отсюда снежные вершины гор, ограждающих последние границы, не видно и холодного солнца иного мира. Всего того, что требует человеческого одушевления и питания той самой теплотой.

Пушкой это и не горделивый Эльбрус, а лишь бывшая донная выпуклость, но на Чертовом бугре человек ощущает достоинство и узнает о своей подспудной коренной силе. Как дерево, растущее из занесенного ветром семечка. Оно внедряет корни, срастается с почвой и с годами становится старожилом. Его крона дает благодатную тень и питает кислородом окружающий воздух. А вершиной оно соседствует с небом. И превращается не просто в дерево, а в *стол*, одну из опор всему видимому и невидимому.

...А монашек посидел на травяной обочине дороги, сгрыз черный сухарь из котомки и запил глотком святой воды из бутылки. Бог знает, о чем думалось ему при созерцании наших далей. Только легко подхватился он с травы, отряхнул пыль с обветшалой рясы, повернулся к востоку, тихо помолился и, в запас благословляя, размашисто перекрестил дольний мир...

## 2. КРИК ЧЕЛОВЕКА

ПРЕДИСЛОВИЕ. Век морского судна сопоставим с веком человека. Лендлизовские «Либерти», склепанные на единственную ходку из Америки и благополучно доставившие танки и самолеты в нашу воюющую с нацистами страну, бродили по дальневосточным морям до восьмидесятих годов. Последнее такое судно долго стояло в качестве причала в бухте Диомид во Владивостоке и лишь в 1995 году было продано на металлолом. Трофейный круизный лайнер «Советский Союз» («Альберт Балин», потом «Ганза»), конструктивно примечательный каютами на карданных противоуканчивающих подвесках, скончал дни в гонконгском разделочном доке на шестидесятом году своей драматической истории. Теплоход «Хатангалес», на котором мне в молодости довелось поработать, был построен в серии лесовозов для Камчатского морского пароходства на финской верфи Вяртсиля в 1965 году. Вздумалось мне отследить его судьбу, ибо пристрастен к этому сухогрузу. Надеялся, «Хатангалес» до сих пор на плаву.

Интернет добросовестно вывалил все данные. Из состава Камчатского морского пароходства теплоход перешел в частное владение, но не поменял предназначения: по-прежнему таскал по морям в трюмах строительный лес, генеральные грузы и всякий хозяйственный припас. У него обветшала внешняя оболочка и просели ребра, — думал я, — а во всех костях и их сочленениях возникла старческая оскрипелость. Сердце его, полоторатысячесильный дизель, несколько раз подвергался ремонтным операциям, но дежурные механики, подгоняя по артериям свежей соляной крови, до сих пор оберегают его от последнего инфаркта.

И вдруг в одной из сводных таблиц о камчатских судах глаза резанула запись в графе, выделенной багровым цветом: «Теплоход «Хатангалес». Списан в 2008 году. Утилизирован». Это бездушное «утилизирован» напомнило протокольную фразу: «Приговор приведен в исполнение».

Сорок три года для морского судна — как зрелый возраст у человека. Впереди еще два активных десятилетия. Что же случилось с этим теплоходом из серии финских лесовозов, многие из которых до сих пор на линии. Или перетрудился, или за ним плохо следили?..

В 1966 году камчатские газеты писали, как «...после трех суток поединка со стихией в Авачинскую бухту вошел теплоход «Хатангалес», похожий на айсберг: у 4-го Курильского пролива его настиг ураган, — волнение 9 баллов, снегопад, сильное обледенение, крен 40 градусов». О том февральском переходе из Владивостока уже мало кто помнит. Но зимой 1972 года с ним случилась похожая история...

И вспомнились мне два случая на борту этого лесовоза, два случая, обнаружившие два таких несхожих друг с другом состояния природы и связанные с этими состояниями перемены внутреннего мира, скорее, даже не перемены, а переломы. И на их гранях — юношеские озарения, до сих пор плещущие в памяти и воображении...

\* \* \*

...Экипажу было запрещено выходить из надстройки на палубу, лед грузными грибами нарастал на плоскостях корпуса и на такелаже судна. Ураган настиг его у Курил на штатном перегоне Владивосток — Петропавловск-Камчатский. Был ли перед тем просчет капитана, не решившегося задержать рискованный рейс по опасному метеопрогнозу, то ли вмешалась непереносимая хозяйственная нужда, но на выплыве из Сангарского пролива невеликая тихоокеанская волна взбухла до штормового наката. К исходу вторых суток судно остановилось, а потом всей мощи машины на полном ходу хватило лишь на то, чтобы отыграть убойный натиск стихий.

Помнятся мне жар мертвого воздуха в наглухо задренной надстройке, трепыхание бледного, измученного, привязанного ремнями к рулевой стойке штурвального матроса в ходовой рубке, пляшущая стрелка кренометра перед ним. На экране локатора вспыхивали и медленно гасли, будто тающие снежинки, призрачные световые пятна. Стекла рубки были залеплены снегом и только в круге стробоскопа напротив рулевой стойки видно было летящие в свете прожектора снежинки и чередующиеся со снежными струями на стекле секущие полосы ледяного дождя.

В ходовой рубке судна ученику моториста делать нечего, я снова спустился в чрево машины, на ночную подвахту. Наверное, я оказался единственным членом экипажа, на которого не действовала качка. Ироническая строка поэта «Он море с берега любил в его ненастную погоду...», однако, не относилась ко мне в тот час и на ту минуту. Нет, не шептал я в панике: «Я к мамочке хочу!», а, можно сказать, слепо мужествовал в *неведении* стихий, бушующих снаружи — оттого и впал в состояние безрассудного восторга, свойственное скорее подвыпившему человеку.

Подо мной, содрогаясь, гнулаась, будто позвоночный хряп, килевая балка весом сотни стальных тонн, приращенные к ней ребра шпангоутов и стрингеров, казалось, по-живому двигались и скрипели, шкура судовой обшивки вспучилась тугими пузырями, какой-то сизый туман слоями плавал по машине, а может, это просто происходило у меня в голове.

Вахтенного механика не было видно на хозяйстве: должно быть, привалился бедолага к переборке в тихом углу, перебарывая подкатившую к горлу тошноту. Цепляясь за лееры, я проверил работу масляных капельниц-лубликаторов, давление топлива на форсунках дизеля. Заплетающиеся ноги вынесли меня к знакомому трапу.

Из всех судовых закоулков и диспозиций машинного железа пришелся мне по душе лючный проем в деке выхлопных труб. Дека — крохотная палуба наверху кожуха выхлопных труб. К ней вел трап из машинного отделения, наполненного тяжким гулом работающего дизеля, жаром судовых котлов, выхлопных коллекторов и «теплых ящиков». Это место оказалось высшим в судовых надстройках, стало удобной точкой созерцания и оставило в памяти незабываемые наблюдения. Потому до сих пор и считаю его местом силы.

Десятки судов различного тоннажа и разных габаритов в день ходили этим маршрутом, и где-то у Курил, возможно, бедовали и другие посудины, если не спрятались от изнуряющей болтанки в подветренной части островов. Но лишь на «Хатангалесе» обнаружился व्यюноша, на которого не действовала морская качка. Откинув крышку люка, он укрепился на трапе и осмотрелся.

Судно качалось в светящемся облаке, топовые и габаритные огни плавали разноцветными размывами, свет наружных прожекторов создавал ощущение безопасной

зоны, пронизанной струящимися потоками непогоды. Содрогание корпуса на размашистой волне, бесконечные пологие склоны водяных холмов, на которых мельтешили пестрая шуга и суматошные льдины, водяная пыль и выплески волн облаками вздымались из-под скел корпуса и уносились прочь. Надо всем довлел звуковой, грубо немзыкальный аккомпанемент стихии — необоримый гуд ветра, густой, болезненно-надсадный. Он гасил даже рев дизельного выхлопа за спиной, буквально на расстоянии вытянутой руки. Осколки вод и снежная завихруха не долетали до лица человека — столб горячего воздуха из машинного отделения обволакивал его защитным коконом.

До сих пор не знаю, что происходило со мной. С предосторожностями расклинившись в лючном проеме и вцепившись мертвой хваткой в окантовку люка, я с обострившей опаской взирал сверху на это безумие, — но совершенно не испытывал страха. При том, что с какой-то предельной ясностью, не умом, а разумом понимал, что в *таком* море человеку не было места, а стальная скорлупка судна лишь временно сберегала его до изнеможения стихий.

В то время ничего не знал я об обиталищах бесов, и метеорологи легко могли бы убедить меня в непреложности сезонно-циклических перемен погоды и неблагоприятных для мореплавателя движений воздушных масс — со всеми сопутствующими признаками и обстоятельствами. Мне не было известно, с каким изуверством духи злобы поднебесной колеблют морскую гладь и плещут зеркальной прочностью бытия, убеждая человека в своем отсутствии, — когда их без числа. Чтобы обмануть его в близости своей, — ибо невидимое ближе, чем видимое. Чтобы посеять в душе сомнение и страх.

И так черное воинство, так демоны злобы стращали меня в моей броне из горячего воздуха, — а я и не страшился.

С этой точки обзора казалось, что судно летело вперед, трепеща сочленениями корпуса, несло, будто огромное животное, висясь костяком и сотрясаясь мышцами и жилами, но только рулевой из показаний скоростемера знал, что в действительности стихия безудержно пятила его кормой в Третий Курильский пролив. Клубящимся световым облаком в пропастях тьмы, должно быть, выглядел теплоход со стороны — если только кто-то мог его видеть, но на десятки миль ни в море, ни на берегах не было ни одного человека. Да его, думалось, вообще нигде не было, лишь на «Хатангалесе», на деке выхлопных труб сидел *один из всех*.

Судно то ныряло в воздвигенный впереди водяной вал, который лавой катился по палубе, бухал в лоб надстройки и шлейфом сеева слетал с кормы, а то зависало над бездной с намерением переломиться пополам на гребне вала. Наверху так явственно ощущалась порывистая дрожь корпуса, глухие надсадные стоны железа, верезг радиантенн и бегущего такелажа, будто это был не сильный грузовой теплоход водоизмещением пять тысяч тонн, а скудная плоскодонная баржонка. И если б не держался я крепко в лючном проеме, меня бы выметнуло за габариты судна, как камень из пращи.

И поступил же дерзко для молодого человека, не знающего молитв: заложил пальцы в рот и свистнул, насколько мог сильно. А потом и закричал «го-го-го», и заревел, срывая голосовые связки. Не думалось, правильно ли я поступаю, но грому стихий, беснованию ветра и выхлопному грохоту за спиной хотелось подать человеческий голос, чтобы насторожить хаос, дать понять мертвечине, что здесь, наверху, есть-таки неподатная ей *живая* душа.

Может быть, и польстил я себе, если бы связал эту выходку с незаметно наступившей минутой иссякновения ураганных сил. Но спустя некоторое время, после обхода по вахте, когда снова высунулся в люк, обратил внимание на уменьшение амплитуды качки и угасание разноголосого рева. А сменившись с вахты, обнаружил в брезжущем синьютинном утреннем свете обнажившуюся вокруг смиренную морскую даль и скованный изморозью простор.

Напрасно вглядывался я в эту картину, пытаюсь отыскать следы ночного беснования. Взмалумученные бездны погружались в сон. Мироправители тьмы покинули сердцевину Курильской гряды, затаились то ли в пучинах вод, то ли у вершин насупившихся островных гор. Ведь по небесному регламенту выше гор им не дозволено витать.

Бесчувственно-льдяное море, четкий абрис Парамуширских гор, правильный овальный свал горизонта — все это увиделось древней чеканкой на площадке до синевы окислившейся листовой меди.

И я внутренне согласился с тем, что так будет *правильнее*.

### 3. ОСТАНОВКА В ОКЕАНЕ

Случайная остановка главного судового двигателя ночью в открытом зимнем море — всегда происшествие. Пока я, молодой человек двадцати лет, ученик моториста, по трапам выкарабкивался из машинного отделения — с пайол машины, расстеленных ниже ватерлинии, на самую верхнюю точку судовой надстройки, на деку кожуха выхлопных труб, чтобы тайком покурить, внизу перепуганные механики искали причину остановки.

В свете полной оторопелой луны сверкали щетинки инея, небо в мириадах звезд с холодными колющими глаза иглистыми лучами необычайно искрилось, а в зените, точно над моей головой, овеваемой крыльями одинокой чайки, оно, казалось, пылало. В сосредоточении гулкой тишины *что-то* проникло в мое сердце, я замер, свесив ноги в клубящееся тепло машины.

Покрытое зыбцой, в предошущении зимних штормов, море легло недвижно, луна засветила на нем сверкающую поляну. По угасшему кильватерному следу в глубине вод дымило фосфоресцирующим туманчиком. Ясно виделась черта горизонта, небо кругло обнимало и море, и замерший точно посередине моря сухогруз, и в каком-то астрономическом центре меня, как есть. Была такая нечеловеческая геометрия во всем, такие точные *расклад* и расчет, что я не мог не восхититься.

Ни море, ни небо не казались ни живыми, ни мертвыми, они где-то без усилий рождали живое, которое потом умирало, и сами не становились ни старше, ни ветше, но оставались юными, искрящимися светом. По отношению ко мне они не казались ни враждебными, ни дружелюбными; и море, и небо были двумя частями целого, одной вселенной, а я будто не из недр корабля выбрался, а выплыл из чрева Великого океана в родовых пленках.

Наверное, скажи я шепотом одно слово со своей трубы — а я же оробел и сидел молча — оно, оттолкнувшись от поверхности моря и разрастаясь в своем значении, гулким эхом уйдет в опрокинутую прохладную звездную глубь. Почему-то я не сомневался, что там есть Кому вникать.

До того мгновения я жил, сердца не чуя, одним умом и одним днем, но там, на деке, посреди океана, родилась моя душа. Прошло немало лет. Теперь живу, будто стесняясь кипения страстей, оберегаемый вторым зрением, что открылось мне тогда...

Через две-три минуты не успевший ни остыть, ни расплавиться дизельный реактор снова запустили, он бодро взрыкнул, столб черного выхлопного газа ударил за моей спиной в высокое небо, на мачтах и надстройках вспыхнули сигнальные огни, судно тронулось с места и стало мягко набирать прежнюю скорость.

На нем плыл уже *другой* человек.